

Р. Белоусов

Я раб твоей любви

С Троицы не было дождя, дорога пылилась, и густой шлейф тянулся за кибиткой. Афанасий Афанасьевич возвращался с Коренной ярмарки. Ехали полями, по обе стороны раскинулся тучный чернозем, рассыпчатый, как крупа, щедро одаривавший людей своими плодами. Темно-зеленые полосы ржи сменялись сизыми овсами, густым забором стояла пшеница, отцвела и поднялась гречиха. В воздухе, напоенном запахами цветов и трав, слышался пчелиный гул, раздавался пересвист перепелов и жаворонков. На заливных лугах начинался покос, и в траве, словно по колено в пушистом ковре, мелькали пестрые рубахи косцов и белые косынки баб.

Впереди на правом крутом берегу Тускори показалось Воробьевское гнездо. Так называл Фет свое новое имение, всего полгода как купленное. Место это полюбилось ему с первого взгляда, и он, не раздумывая, расстался со своей Степановкой, где прожил семнадцать лет и которую своими руками поставил на хозяйственную ногу, превратив из затерянного в глуши скита в «прелестную табакерочку».

Переехав в Воробьевку прошлой осенью, Афанасий Афанасьевич, вопреки заведенному обычаю проводить зимы в Москве, прожил тут один-единешенек до весны. Только в марте по последнему санному пути приехала жена Мария Петровна.

В этот момент, можно сказать, сибаритского довольства и наконец наступившего житейского покоя его стало тревожить прошлое. Раньше недосуг было оглядываться назад, некогда было. Целеустремленный в будущее, Фет думал лишь о текущих делах и не мог позволить себе расслабиться, отвлечься даже в мыслях от хозяйственных забот. Душа его словно оледенела, он жил одним лишь разумом, выше всего ставил здравый смысл, деловитость и практическую деятельность.

Если же и случалось обращаться к памяти сердца, то усилием воли старался прогнать нежелательные воспоминания, считая сентиментальные чувства мешающими достижению того, к чему стремился. Он и стихи писать почти перестал, забросил Музу, ибо убедился, что литературным трудом не проживешь, а тем паче ничего не наживешь.

Бывали, правда, минуты, когда его охватывала какая-то ему самому непонятная хандра, жизнь казалась скучной, а ее основным содержанием— страдание. Афанасий Афанасьевич делался мрачным, смотрел угрюмо и ничто его не радовало. Тут было не до стихов. Жизненные тяготы заставляли в течение многих лет отворачиваться от них. И лишь в редкие мгновения на него нисходило вдохновение, и он пробивал будничные льды, чтобы хоть на миг вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии. И удивительное дело! — рождались прекрасные, полные светлой грусти стихи. Как будто убежал от чего-то серого, однообразного в мир красоты, воспевая природу и любовь, с наслаждением погружался в печальную историю своего сердца.

В благословенный день, когда стремлюсь душою
В блаженный мир любви, добра и красоты,
Воспоминание выносит предо мною
Нерукотворные черты...

Началось это в первую зиму его жизни в Воробьевке. Коротая одинокие ночи в нестроенном флигеле (в доме шел ремонт), он покончил с долгим творческим постом.

На дворе бушевала вьюга, со злостью бросала в окна хлопья снега, в печной трубе бесился залетевший туда ветер. Комната слабо освещалась керосиновой лампой под круглым белым плафоном. Было холодно, грустно и одиноко.

В уединении забудусь ли порою,
Ресницы ли мечта смежает мне, как сон,

Ты, ты опять в дали стоишь передо мною,
Моих весенних дней сияньем окружен.

Вот и теперь то, что увидел на ярмарке, растревожило его память.

Когда на конной площади встретил бравых офицеров, среди которых преобладали гусары, испытал радостное возбуждение. Попал в милую его сердцу отставного кавалериста стихию. И тотчас память увлекла его в военное прошлое, в те долгие восемь лет, которые провел в пыльном степном городке на берегу Тясмина, притока Днепра, к одноэтажному домику со ставнями на пяти окнах, трем чахлым тополям перед ними и скрипучей калитке. Сладостно защемило сердце. Ниточка воспоминаний потянулась дальше, в глубь той, навсегда прошедшей жизни, когда он мог бы, наверное, найти счастье и чуть было не обрел его, но, увы, превозмог свое чувство и пренебрег чужим.

Сознание невозвратимой потери угнетало и стало теперь постоянным спутником, чаще всего проявляясь в стихах. Будто вскрылась долгие годы сидевшая в нем болезнь души, порождавшая хандру. Можно подумать, ему было приятно растревать старую рану, раздирающую эту самую его душу, словно власяница тело кающегося монаха. Горько сожалея о невосполнимой утрате, снедаемый запоздалым раскаянием, он творчеством пытался преодолеть ставшее невыносимым страдание.

Ты отстрадала, я еще страдаю,
Сомнением мне суждено дышать,
И трепещу, и сердцем избегаю
Искать того, чего нельзя понять.

На склоне жизни Фет «зажег вечерние огни», жил грезами юности. Мысли о минувшем не оставляли его, причем посещали в самые неожиданные моменты. Достаточно было малейшего внешнего повода, скажем, прозвучать словам, похожим на давно сказанные, мелькнуть на плотине или в аллее платью, схожему с тем, что в те дни видел на ней.

...Случилось это тридцать лет назад. В херсонском захолустье встретил он девушку. Звали ее Мария, ей было двадцать четыре года, ему — двадцать восемь. Отец ее, Козьма Лазич, по происхождению серб, потомок тех двухсот своих соплеменников, которые в середине XVIII века переселились на юг России вместе с Иваном Хорватом, основавшим здесь, в Новороссии, первое военное поселение. Из дочерей генерала в отставке Лазича старшая, Надежда, изящная и резвая, прекрасная танцовка, обладала яркой красотой и веселым нравом. Но не она пленила сердце молодого кирасира Фета, а менее броская Мария.

Высокая, стройная брюнетка, сдержанная, чтобы не сказать строгая, она во всем, однако, уступала сестре, зато превосходила ее роскошью черных, густых волос. Это, должно быть, и заставило обратить на нее внимание Фета, ценившего в красоте женщин прежде всего волосы, в чем убеждают многие строки его стихов.

Обычно не участвовавшая в шумных весельях в доме своего дяди Петковича, где часто гостила и где собиралась молодежь, Мария предпочитала играть для танцующих на рояле, ибо была великолепной музыкантшей, что отметил сам Ференц Лист, услышав однажды ее игру.

Заговорив с Марией, Фет был изумлен, насколько обширны ее познания в литературе, особенно в поэзии. К тому же она оказалась давней поклонницей его собственного творчества. Это было неожиданно и приятно. Но главным «полем сближения» послужила Жорж Санд с ее очаровательным языком, вдохновенными описаниями природы и совершенно новыми, небывалыми отношениями влюбленных. Ничто не сближает людей так, как искусство вообще — поэзия в широком смысле слова. Такое единодушие само по себе поэзия. Люди становятся более чуткими и чувствуют и понимают то, для полного объяснения чего никаких слов недостаточно.

«Не подлежало сомнению, – будет вспоминать Афанасий Афанасьевич на склоне жизни, — что она давно поняла задушевный трепет, с каким я вступал в симпатичную ее атмосферу. Понял я и то, что слова и молчание в этом случае равнозначительны».

Одним словом, между ними вспыхнуло глубокое чувство, и Фет, преисполненный им, пишет своему другу: «Я встретил девушку — прекрасного дома, образования, я не искал ее — она меня, но судьба — и мы узнали, что были бы очень счастливы после разных житейских бурь, если бы могли жить мирно без всяких претензий на что-либо. Это мы сказали друг другу, но для этого надобно как-либо и где-либо? Мои средства тебе известны — она ничего тоже не имеет...»

Материальный вопрос и стал главным камнем преткновения на пути к счастью. Фет считал, что самая томительная скорбь в настоящем не дает им права идти к неизбежному горю всей остальной жизни — раз не будет достатка.

Тем не менее, беседы их продолжались. Бывало все разойдутся, время уже за полночь, а они никак не могут наговориться. Сидят на диване в алькове гостиной и говорят, говорят при тусклом свете цветного фонаря, но никогда не проговаривались о своих взаимных чувствах.

Их беседы в уединенном уголке не остались незамеченными. Фет чувствовал себя ответственным за честь девушки — ведь он не мальчик, увлекающийся минутой, и очень опасался выставить ее в неблагоприятном свете.

И вот однажды, чтобы разом сжечь корабли их взаимных надежд, собрался духом и без обиняков высказал ей свои мысли насчет того, что считает брак для себя невозможным. На что она ответила, что ей нравится беседовать с ним, без всяких посягательств на его свободу. Что касается людской молвы, то тем более не намерена из-за пересудов лишать себя счастья общения с ним.

«Я не женюсь на Лазич, – пишет он другу, – и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений, она предо мною чище снега — прервать неделикатно и не прервать неделикатно — она девушка — нужно Соломона». Необходимо было мудрое решение.

И странное дело: Фет, сам считавший нерешительность главной чертой своего характера, тут неожиданно проявил твердость.

Впрочем, так ли уж это было неожиданно. Если вспомнить его собственные слова, что школа жизни, державшая его все время в ежовых рукавицах, развила в нем до крайности рефлексию и он никогда не позволял себе шагу ступить необдуманно, то станет понятнее и это его решение. Те, кто хорошо знал Фета, например, Л. Толстой, отмечали эту его «привязанность к житейскому», его практицизм и утилитаризм. Точнее будет сказать, земное и духовное боролись в нем, рассудок воевал с сердцем, часто возобладал. Это была нелегкая, глубоко скрытая от чужих глаз борьба с собственной душой, как говорил он сам, «насилование идеализма к жизни пошлой».

Итак, Фет решил прекратить отношения с Марией, о чем сам написал ей. В ответ пришло «самое дружеское и успокоительное письмо». Этим, казалось, и закончилась пора «весны его души».

Через некоторое время ему сообщили ужасную вест. Мария Лазич трагически погибла. Она умерла страшной смертью, тайна которой до сих пор не раскрыта. Есть основание думать, как считает, например, Д. Благой, что девушка покончила самоубийством.

По официальной версии, дело было будто бы так. Мария лежала на диване в кисейном платье и читала. Закурив папироску, бросила на пол спичку, полагая, что та потухла. Внезапно платье загорелось. Испугавшись, девушка бросилась на балкон, где пламя обьяло ее с еще большей силой. Она успела крикнуть, чтобы сохранили письма Фета к ней. И, умирая в мучениях, предупредила: «Он не виноват — а я».

Только теперь после гибели Марии Фет понял, что она была для него и чем могла стать.

«Смерть, брат, хороший пробирный камень», – скажет он в те дни, до конца поняв, что ему посчастливилось встретить девушку, с которой мог бы пройти по жизни. Только «разлучась навеки», осознал свою любовь и пронес ее через все последующие годы.

В минуты поэтического озарения переживал ушедшее былое, взывал к возлюбленной:

Ты, дней моих миновавших благодать,
Тень, пред которой я благоговею...

Памятью о Марии Лазич вызваны многие его стихотворения. Ей посвящено одно из «самых благоуханных созданий мировой лирики» — «Шепот, робкое дыханье...» Кроткий и печальный ее образ является ему в поэме «Сон», вспоминая о дорогом для них обоих прошлом.

Впоследствии Фет женился, прожил долгую жизнь. И где бы он ни находился — в Воробьевке или в московском доме на Плющихе — образ прекрасной девушки не покидал его. Порой возникал абсолютно явственно, почти физически ощутимым. Он видел ее с какой-то особой силой любви, чуть ли не с телесной и душевной близостью и все отчетливее сознавал — счастья, которое тогда пережил, было так много, что страшно и грешно желать и просить у бога большего.

В одном из самых любимых своих стихотворений Фет писал:

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь вспоминать.